

Влас Дорошевич

Уголок старой Москвы



Влас Михайлович Дорошевич
Уголок старой Москвы
Серия «Старая театральная Москва»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=652515

Аннотация

«В темном углу, заросшем паутиной, с тихим шорохом отвалился кусочек штукатурки. Разрушается старый дом. Разваливается. Жаль! На днях, просматривая какой-то театральный журнал, я увидел портрет очень пожилого человека и подпись: „Вейхель. Скончался такого-то числа“. Как? Умер Вейхель?..»

Содержание

I	4
II	22

Влас Михайлович Дорошевич Уголок старой Москвы

I

В темном углу, заросшем паутиной, с тихим шорохом отвалился кусочек штукатурки. Разрушается старый дом. Разваливается. Жаль!

На днях, просматривая какой-то театральный журнал, я увидел портрет очень пожилого человека и подпись:

«Вейхель. Скончался такого-то числа».

Как? Умер Вейхель?

Осыпается дерево моей жизни.

Но неужели он был так стар?

Я заглянул в зеркало.

Печальная пора...

Когда зеркало говорит вам, как часы:

– Времени много.

С Вейхелем ушел один из последних «деятелей»:

– Секретаревского и Немчиновского театров. Где были такие театры?

В Москве.

Вам, молодые люди 30—35 лет, эти имена не говорят ничего. А вашим отцам они стоили много единиц по географии, по алгебре, по латыни и по греческому.

Это были любительские театры. Правда, очень маленькие. Театры-табакерки. Но настоящие театры!

С партером, с ложами, с ярусами, даже с галеркой, с оркестром, с пыльными кулисами, с уборными.

Секретаревский помещался на Кисловке, Немчиновский – на Поварской.

Это были, вероятно, когда-то, при крепостном праве, домашние театры господ Секретаревых, господ Немчиновых.

Теперь они сдавались под любительские спектакли – что-то рублей за семьдесят пять, за сто, с правом устроить две репетиции.

Только две!

Остальные устраивались по домам.

Потому что, – вы понимаете, – тут главное дело было, конечно, в репетициях.

Тогда Москва была полна любительскими кружками.

Публики не было. Все были актерами. Все играли!

В каждой гимназии было по несколько любительских кружков.

Мы учились больше в Секретаревке и Немчиновке, чем в гимназии.

Роли распределялись:

– По особенностям дарования. Но и по тому:

– Кто сколько мог продать билетов.

И часто «старому актеру» пятого класса:

– Урожденному Расплюеву, предлагали сыграть маленькую роль купчика:

– «Прикажите получить, Михайло Васильевич!» Потому что Чулков Сергей мог продать билетов:

– На целых пятьдесят рублей!

– Но какой же он Расплюев, – плакал Иванов Павел, – когда я рожден Расплюевым? Вы понимаете: рожден! Моя коронная роль!

– Но для искусства, Иванов! Спектакль не состоится! Для святого искусства!

– Для искусства?.. Для искусства наш брат, актер, на все согласен! Идет! Тогда гремел Андреев-Бурлак и волновал молодой Иванов-Козельский. У Бурлака была толстая нижняя губа, он пришепетывал.

И все комики во всех гимназиях, – а какой гимназист тогда не был комиком! – все комики ходили с оттопыренной нижней губой. Кусали ее, чтоб:

– Потолще была, проклятая!

И отвечали по географии, пришепетывая:

– Жанжибаршкий берег. Настоящие Бурлаки!

А любовники, бреясь, – изобретательные парикмахеры находили, что у них брить, – испуганно говорили:

– Вот здесь, на родинке, волосы. Вы их, пожалуйста, не брейте! Избави вас Бог, не брейте!

У «Митрофана Трофимовича» была около подбородка родинка, которую он не решался брить.

– Правда, я похож на Козельского? И сейчас, Боже, Боже, сколько Бурлаков, сколько Козельских встречаю я по Москве!

Вот по коридору гражданского отделения суда бежит с измызганным портфелем под мышкой полысевший присяжный поверенный.

А, писарь из пьесы «На пороге к делу»!

– «Не человек, а чистая кукла!»

По улице бредет солидный господин с сыном, бородатым студентом. А помните, как мы с вами ходили в Преображенский дом для умалишенных, готовясь читать «Записки сумасшедшего»:

– Как Бурлак.

И в трактир на Дьяковке:

– Наблюдать народные типы для «Не так живи, как хочется». Как-то в день какой-то паники я посетил московскую биржу. И здесь Борис из «Грозы» метался, крича:

– Масло! Масло! Продаю масло! Кто покупает масло?

Это для вас в Москве доктора, адвокаты, учителя, биржевые зайцы.

Для меня все Бурлаки, Бурлаки, Ивановы-Козельские.

Здесь, в этих маленьких театрах, Секретаревке и Немчиновке, как в комнате, на окне, под стаканом, пустили свои первые ростки растения, которые потом, пересаженные на

настоящий театр, расцвели пышными и большими Цветущими кустами.

Здесь играл корнет Сумского гусарского полка Пашенный.

Являясь на репетиции в красных рейтузах, в голубом мундире с серебряными шнурами.

Он щелкал шпорами и застенчиво кланялся на все стороны, когда его со всех сторон хвалили, особенно дамы:

– Превосходно, Николай Петрович! Превосходно! Потом это был:

– Рощин-Инсаров.

Здесь начал свою артистическую деятельность мой:

– Учитель чистописания и рисования Артемьев.

Потом – ваш друг, ваш любимец, незабвенный, дорогой и милый Артем.

– Дедушка Художественного театра.

(Ведь и сам Художественный театр вырос тоже из любительского кружка.) Вы вспоминаете Артема чудесным Фирсом, трогательным «Нахлебником».

Я помню его превосходным Аркадием Счастливым. И в моих ушах звучит его мягкий, укоряющий голос:

– Дорошевич Власий, сколько раз я вам говорил, чтобы вы, когда пишете, держали указательный палец прямо! Вы опять держите указательный палец не прямо!

Целое отчаяние в голосе!

Изо всей массы людей, которые меня «учили и воспитывали»

вали», это один из немногих, о которых у меня сохранилась теплая память.

Он был бесконечно добр.

Его рука никогда не поставила единицы, не вывела красивой и элегантной двойки.

Мы, конечно, злоупотребляли этой добротой.

– А я вчера был в Секретаревке. Видел вас в роли Кулигина! Он конфузился:

– Ну, ну, пиши!.. Буква «Б». Большая. Пишется так. Круг, колесом, легко, не нажимая. Потом нажим, черта над буквой и опять пусти перо легко. Хвост кверху. Завитка не делать. Некрасиво и по-писарски!

Вы его помните. Видите, как живым. Небольшого роста. Рябой. С дерганой бородкой. В молодости у него была пышная шевелюра.

– А да черт меня побери! – как называлось тогда. Так тогда ходили:

– Все художники.

От него веяло художником и Училищем живописи, ваяния и зодчества. Он держался со взрослыми гимназистами:

– Больше по-товарищески. Здравовался за руку:

– Когда не видел надзиратель.

И, встречаясь в театре, угощал папиросами.

Он был старый, известный любитель.

Звезда Секретаревки и Немчиновки.

Как другой превосходный артист-любитель, князь Ме-

щерский.

Артем играл:

– Уже за плату.

Получал пятнадцать рублей от спектакля.

И играл превосходно.

Коронной ролью его был Аркадий Счастливец.

Тогда сводил с ума всю Москву в этой роли Андреев-Бурлак.

Островский, посмотрев его, сказал:

– Хорошо. Но я этого не писал. Уж очень этот Аркадий жулик. Даже прожженный.

Артем играл мягче. И сколько я вспоминаю:

– Был лучше.

У него это была добродушная богема.

Целый день этот человек твердил то одним, то другим малышам:

– Буква «Г». Большая. Пишется так. Смотрите. А вечером предавался творчеству. Настоящему художественному творчеству.

На «блюдечке» игрушечного театра, с гимназистами. Почему он тогда же не отдался призванию, таланту, а «тянул лямку» учителя чистописания?

Почему не пошел на сцену? Мне кажется, что:

– По робости.

Отличительной чертой этого художника с шевелюрой «а 1а черт меня побери» была:

– Робость.

Робость перед жизнью.

Жизнь – страшная штука.

Вроде нависших скал на Военно-Грузинской дороге:

– Пронеси, господи.

Может быть, самое лучшее – пройти ее, зажмурясь. Артем глядел на жизнь широко раскрытыми, испуганными глазами. Маленького человека пугала эта огромная, нависшая над ним глыба – жизнь.

Вот-вот рухнет и раздавит.

– Служба, братец, это все-таки определенное. А сцена... и-и... Он боялся пойти в провинцию.

Где не платят, где антрепренеры бегают, где сидят на мели. Боялся частных театров.

– А вдруг прогорит!

А поступить на «настоящую» сцену, на казенную, на «образцовую», на великую, на Малую, тогда было:

– Нечего и мечтать.

На Малой сцене не могли и представить себе, что где-нибудь кто-нибудь может играть:

– Кроме них.

Самарин и вообще-то театром называл только Малый театр. Кажется, даже решившись наконец поступить в театр, – в Художественный театр, – Артем все-таки продолжал преподавать:

– Буква «А». Большая. Пишется так! Пока не дослужился

до пенсии.

– На всякий случай!

– Мало ли что может случиться!

Мне приходилось слышать в воспоминаниях об Артеме, всегда нежных, всегда трогательных, всегда полных любви, добродушное подтрунивание:

– Дедушка был-таки скуповат!

Я думаю, что эта скупость была продиктована не жадностью, – о, нет, – не любовью к деньгам, – а той же боязнью перед жизнью.

– А вдруг!

– Мало ли что может случиться! Жизнь – страшная штука.

Вдруг все лопнет!

С этой боязнью перед жизнью, с этой тревогой, мне кажется, он жил до последнего дня.

Мир его милой памяти!

Милый Артем!

Если бы Секретаревка и Немчиновка, – или, как их еще непочтительнее звали в старой Москве:

– Секретаревская и Немчиновская «дыры», дали русскому искусству только Рощина и Артема, – и тогда их заслуга немала перед «настоящей» сценой.

Настоящие актеры режиссировали Бурлаками и Козельскими.

Особенно славился как режиссер Далматов.

Я познакомился с ним в Пушкинском театре Бренко.

Какое счастье! За кулисами.

Крошечная уборная:

– Писарева. Полно народу.

Едва дыша, я сижу где-то в уголке, около таза, полного мыльной водой.

У гримировального стола сидит сам Модест Иванович и поющим баском что-то говорит.

Около Глама-Мещерская, как произносят одни. «Сама» Глама, как выговаривают другие. Красота, вся изящество, вся грация, вся женственность – Глама-Мещерская, про которую в Москве сложились стихи:

Будь ты хоть Глама, хоть Глама, Ты все же нас свела с ума.

Тут же Бурлак, – настоящий Бурлак. Рютчи, Козельский. Собрание богов. Идет какой-то спор.

И вдруг в середине спора в уборную влетает человек в «соединенных штатах», – как говорилось тогда, – но совершенно без рубашки, с торсом атлета. Далматов.

– Во-первых! – вступает он в спор, делая красивый жест рукой.

– Во-первых, – прерывает его г-жа Бренко, – Василий Пантелеймонович, оденьтесь!

– Prrrrrdon! Общий хохот.

– У нас Вася пылкий человек! Ему всегда жарко! – пришепetyвая, говорит Бурлак.

Мы захотели пригласить режиссировать:

– Самого Бурлака.

И явились депутацией к нему в Чернышевский переулок. Он жил в чудесном особняке, какие есть только в Москве, – и который сейчас, кажется, ломают.

Мы попали на один из тех пиров, среди которых жег свою короткую жизнь этот необыкновенный, – быть может, гениальный, – артист.

И застыли в гимназических мундирах на пороге.

Я помню г-жу Ш., потом актрису, потом корреспондентку, потом антрепренершу, потом судившуюся за подлоги, потом деятельницу «Союза русского народа», шумевшую в Берлине, шумевшую в Петрограде, нашумевшую на всю Россию.

Я помню от нее только очень длинный шлейф и очень эффектную фигуру.

Помню молодого, талантливого музыканта Щуровского, который «подавал большие надежды», но, как это почти всегда бывает у нас, ни одной из них не осуществил до самой смерти.

Все знаменитости.

Бурлак перезнакомил нас со всеми этими богами и полубогами:

– Что, молодые люди? За карточками?

– Нет, мы хотели бы просить вас, Василий Николаевич... у нас... прорежиссировать...

Он посмотрел на нас.

– Что идет?

– «Свадьба Кречинского».

– Ого!

Поклонился.

– На это у нас Вася мастак. Василий Пантелеймонович!
Иди! Молодые люди тебя княжить и управлять пришли просить.

Далматов величественно прошел с нами в кабинет.

– Всегда рад прийти молодым талантам на помощь моей опытностью стэ-э-эрого актера!

Нам немножко льстили актеры.

Ведь мы – та «галерка», которая вызывает «по двадцати раз».

Помню репетиции и Далматова, величественного, как молодой лев.

Он на авансцене.

Далматов сам великолепный Кречинский.

Его коронная роль.

И он учит главным образом Кречинского.

– Нелькин! Вы выбегаете из средних дверей. «Нежна? Кто нежна?» Больше испуга. Кречинский! Стойте! Плечом к Нелькину. Вот так! Поворачиваете голову. Медленно! Пауза. Сквозь зубы: «Скэ-э-э-тина». Вот так! Повторите!

– Кречинский! У вас в руках шапокляк 15. Подождите, не раскрывайте. Вы подходите к двери. Нажимаете доньшко двумя пальцами. Пам! И ушли. Сделайте!

– Реквизитор! Чтобы был подпиленный кий! Вы играли с Лидочкой на бильярде. Вы входите. В левой руке кий. Вы

останавливаетесь. Берете кий и правой. Держите перед собой. словно инстинктивно готовитесь защищаться. Поднимаете слегка правое колено. Р-раз! Кий пополам! – «Сэрвалэ-э-эсь!» Обе половины кия в правую руку. Бросаете вместе в угол. Шаг вперед. Сделайте!

Я глядел на искусство, как на глубокое, бездонное озеро. И я чувствую, как будто бы я вошел и как будто бы это озеро только по колено...

Я невольно переживаю какое-то разочарование, первое разочарование в театре.

Воспоминания развертывают передо мною целую галерею.

– Любительских режиссеров Секретаревки и Немчиновки. Костров, актер Пушкинского театра, с глухим и глубоким басом, он играет только какие-то зловещие роли.

Тень отца Гамлета, Неизвестного в лермонтовском «Маскараде». И я вижу его, со скрещенными руками, выступающим из глубины сцены. Слышу его голос, ровный, без повышений, без понижений, без какого бы то ни было выражения, без остановок, без передышек, без запятых:

– Казнит злодея провиденье невинная погибла жаль ах я ее видал но здесь ее ждала печаль а там ждет ра-а-адость.

Повертывается и уходит.

– До водочки! Милый «трехэтажный»:

– Василий Васильевич Васильев.

Его зовут «трехэтажным», ввиду его имени-отчества-фа-

мили и потому, что ужасно смешно звать «трехэтажным» этого маленького, хворого человечка с лицом, как печеное яблоко.

Он подает крошечную ручку, слабую, как рука трехлетнего ребенка.

Дунь на него, кажется, и он улетит, как перышко.

А он в пылу спора кричал на огромного, на колоссального Писарева:

– Модест! Замолчи, или я тебя вышвырну в форточку!

Писарев от хохота задрожал всем своим могучим телом.

– Да я не пролезу, Василий Васильевич!

Тогда, в злобе бессилия, в истерике, со слезами, с визгом, Василий Васильевич впился Модесту зубами в ногу. Он умен, очень начитан и:

– Если прав, если знает, – не уступит никому. Хоть Писарев, хоть Расписарев!

Он так и умер в бедности, всеми забытый, забегая только иногда попросить:

– Книжку почитать! Хрустально-чистая живая душа на костылях.

Я вообще заметил, что самые умные и самые образованные люди среди актеров обыкновенно маленькие и неудачники.

Большим актерам и любимцам некогда читать: им все поклоняются. А слава и мысли о своем величии не оставляют места в голове ни для каких других мыслей.

Василий Васильевич Васильев был актером того же Пушкинского театра.

И держался только для одной роли:

Афони в «Грех да беда на кого не живет».

Был в ней великолепен.

Да он и в жизни, маленький, больной и умный, был Афонею.

Жил он, по бедности, у Писарева.

И большой Писарев очень любил его, несмотря на угрозы «вышвырнуть Модеста в форточку», укусы и брань, которой Василий Васильевич награждал его в спорах и за игру:

– Вы-с, извините-с меня-с, Модест Иванович-с, сегодня-с как сапожник-с играли-с! Разве-с такие-с бывают-с Иваны-с Грозные-с? Да и какая же-с Александра Яковлевна Глама-Мещерская-с Василиса-с Мелентьева-с? – шипел он.

Критик, как все неудачники, он был жестокий. Каково ему было смотреть наши детские ломанья! Только иногда он отводил душу:

– Вы бы сказали этому барчуку, что ему не Анания Яковлева играть, а таблицу умножения учить! «Грифель!» – как говорит Несчастливцев. Пифагоровы штаны!

И он возился с «барчуками»:

– Если бы не бедность!

Отставной артист Александрийского театра «дедушка» Алексеев всех находил:

– Талантищами.

– У тебя, брат, талантище! Прямо скажу, талантище! Смотри только, в землю не зарой! Ко мне приходи! Я тебе уроки давать буду!

– У вас, милая моя, дарование. Вам и сейчас бы в провинции 500 рублей в месяц и бенефис дали. Картавы вы только. «Р» не выговариваете. «Л» не выговариваете. Вместо «к» у вас «та» выходит. Но это не беда. Вы ко мне приходите. Я вам камушки такие дам. С камушками у меня говорить будете. В десять уроков все пройдет!

– Милый! Дай я тебя обниму! Тронул ты меня, старика, в этой сцене! За кулисами тронул! А в зрительном зале ничего не слышно! Голос у тебя слаб! Да это не беда! Ты ко мне приходи! Я тебе уроки дикции давать буду.

– Картинка ты! Прямо картинка! Только ко мне ходи, я тебе уроки давать стану!

Молодые актеры искали «карасей», как (это) тогда называлось на актерском языке. Старики – уроков.

Но самое главное была, конечно, не сцена, а кулисы.

– Эти священные кулисы.

И я, как сейчас, помню лицо моей бедной матушки, когда я объявил ей:

– Мама, возьми меня из гимназии. Я пойду на сцену. Она всплеснула руками:

– Как на сцену?

Я декламировал и «басил», как актер Несчастливцев:

– Не бывши артистом, нельзя судить об этом. Как дорого и

священно все, что на сцене. И эта суфлерская будка священна, и эти пыльные, размалеванные декорации дороже мраморных колонн, и сама пыль их священна и дорога. Пыль кулис!

Матушка тихо плакала.

Отец сидел по-стариковски в шитой ермолке и курил трубку, сжимая длинный, до полу, хрипящий чубук, как сжимают поводья рвущегося в бой коня.

Играли не на сцене.

Играли за кулисами:

– Актеров. Старых актеров! Один, «как Бурлак»:

– Не мог выйти без коньяку!

– Понимаешь, не могу играть! Не могу! Ничего у меня не выходит! Другие хлестали водку, закусывая вареной колбасой и огурцами, пока парикмахер раскрашивал им лица.

Что ж это за актеры, если не хлещут водку? Именно:

– Не хлещут.

И были в восторге, когда режиссер приходил и говорил:

– А это что у вас? Колбаска? Самая актерская снедь! Любонники пили мадеру:

– Для голоса.

– О-ро-ро! Налей-ка мне, братец, еще рюмашку! О-ро-ро!

Насыпь еще баночку!

И потом воспоминания:

– О гастролях.

– Когда я играл в селе Богородском, скажу я тебе, братец

ТЫ МОЙ...

– Когда мы играли в Пушкине...

– В Царицыне у нас было два спектакля. Сделали мы по тридцать пять рублей на круг.

И все это – «этаким басом».

Не следует думать, однако, что подмости Секретаревки и Немчиновки были усыпаны одними только розовыми лепестками. И что все здесь было только смешно и по-детски. Тут случались трагедии и побольше единицы по латыни. История этих театров-крошек запятнана и пятнами крови.

II

В моих воспоминаниях поднимается элегантная тень.

Я больше никогда не встречал этой женщины, – и гляжу на нее глазами шестнадцатилетнего мальчика.

Не сердитесь, если я скажу вам, что это была красавица и самая изящная женщина в мире.

Как остаются в нашем воспоминании все женщины, которые были близки и которых мы все-таки не достигли.

На самом деле, она была, вероятно, недурна.

Высокая, стройная, хорошая фигура.

Мелкая актриса какого-то театра.

Она работает в любительских кружках победнее.

Режиссирует на репетициях.

Три акта сидит в суфлерской будке.

На четвертый, – с быстротой молнии или актрисы переодевается, является в платье с длинным треном, в перчатках выше локтей, с цветами в волосах, играет какую-то светскую гостью.

Выпускает в водевиле:

– Приготовьтесь, ваш выход!.. Выходите! И все это за десять рублей!

Все?

Идет «Жертва за жертву» Дьяченко.

У меня:

– Знакомых всего на пятнадцать рублей!

Я «ради искусства» приношу себя в жертву, играю «роль без ниточки», смотрителя, и исполняю обязанности распорядителя.

Смотритель (*глядя на дорогу*): Ну и гон, прости господи! И куда это только их гонит? (*Уходит*).

Вложив в эти слова столько комизма, сколько в них нет, я разгримировываюсь и сижу за кассой.

Раздаю оставшиеся семьдесят пять рублей парикмахеру, рабочим, оркестру, бутафорам.

В то время, когда «там» вызывают, выходят, кланяются, кричат:

– Занавес! Давай занавес! Не слышите, черти? Аплодируют! Она входит последнею.

– Фу, устала! Ну что, все или подождать?

– Все!

– Давайте!

Я выдаю ей последние десять рублей, она расписывается.

– Едем!

Я смотрю на нее с недоумением:

– Поедемте! Мы выходим.

– Ты хоть распорядился извозчика-то позвать? Она перешла на «ты».

Я смущен.

– Н-нет... я н-не...

– Ах ты, господи! Ну, что ж мы? Пешком, что ли, пойдем?

Я бегу на угол:

– Извозчик! Извозч-и-ик!

– Садись! Ах, господи, да садись же! Экий нескладный!

Ты сказал ему, куда ехать?

– Н-нет... Я н-не знал... А вы где живете?

– С ума сошел? Ко мне нельзя!.. Ну, что ж мы? Так стоять, что ли, будем? Ты куда меня везешь?

– Я... я... я н-не знаю... Я думал, вас до дому надо п-п-проводить...

– Фу-ты, черт! Хоть бы раньше предупредил! Я бы себе пожарть чего приготовила! Извозчик!

Она тычет его в спину.

– Поезжай сначала на Тверскую. Ты знаешь, около Страстного, против Корпуса, лавочка, где торгуют всю ночь?

И мы ныряем по тогдашним московским ухабам.

Я – смущенный.

Она – уткнувши нос в муфту.

– Да, выскажите...

Она снова переходит на «вы».

– Вы – настоящий распорядитель?

– Я? Настоящий!

– Вы, может быть, так... Есть какой-нибудь другой распорядитель? Настоящий? Он рассердится, что я с ним не поехала. Вы говорите правду? Это ведь дело!

– Ей-Богу, честное слово, другого распорядителя нет. А что?

– Ничего. Первого такого распорядителя вижу. Мы снова молчим.

– Вы часто бываете распорядителем?

– Нет. Я – комик. Я играю. Это я только так... Согласился... В виде исключения...

– А!

И столько презрения в этом: «А!»

И в лавке, пока ей завертывают сосиски и мешчерский сыр, она смотрит на меня.

Свысока. Улыбается уголками губ.

– Тоже... распорядитель!..

Я не знал, за что она сердится.

За то, что осталась без хорошего, – во всяком случае, – теплого, ужина в ресторане? За то, что на свои деньги должна покупать себе сосиски?

Но я чувствовал, что под зеленым лугом, по которому я иду, болото и трясина. Что сквозь траву проступает вода, и мои ноги проваливаются.

Как много обязанностей за десять рублей!

В старой Москве все было дешево: говядина, театр и человек.

В Секретаревке, этом «театре детских игр», разыгралась трагедия, лет тридцать пять тому назад взволновавшая всю Москву.

– Дело нотариуса Н.

Шел любительский спектакль.

В нем, в первый раз в жизни, играла на сцене молодая девушка, конторщица в маленьком журнальчике «Светоч».

К спектаклю имел какое-то отношение нотариус Н., известный в тогдашней Москве, как:

– Большой ходок по дамской части.

Молодая девушка имела большой успех. Ее много вызывали. И нотариус предложил:

– Необходимо вспрыснуть первый артистический успех!

Решили ехать ужинать вчетвером.

Девушка, нотариус, комическая старуха и молодой человек – любитель.

Нотариус повез дебютанта на своей лошади.

Старуха и любитель поехали на извозчике.

Нотариус привез молодую девушку в известную в Москве гостиницу:

– Но с другого подъезда.

В «кабинете» был уже накрыт ужин на четверых.

– Они сейчас приедут. Ведь мы на своей. Но старуха с любителем не ехали. Девушка начала беспокоиться.

Она открыла дверь в соседнюю комнату. Там была... кровать.

– Куда вы меня привезли?

Нотариус запер номер и ключ положил в карман.

Произошла гнусная сцена.

На следующий день молодая девушка кинулась к комической старухе:

– Что вы со мной сделали? Старуха и любитель руками замахали:

– Мы-то при чем? Это все он! Мы приехали, да нас не пустили!

– Я этого так не оставлю. Я подам заявление прокурору. Сообщники перепугались.

– Милая! Что вам за охота поднимать такой скандал! Пачкать в грязи свое имя! Подумайте! Ведь у вас есть отец. Старик! Это его убьет. Дайте мы с Н. переговорим.

– О чем же говорить? Жениться на мне он не может, – он женат...

– Дайте переговорим.

Переговорили.

– Милая! Прошлого не воротишь. Поднимать такую грязь, – пожалейте старика-отца. А вы вот что, вы напишите ему письмо. Пусть заплатит вам десять тысяч, а то, мол, заявлю. Испугается, слова не скажет!

Девушка возмутилась. Но ее стали уговаривать:

– Таких господ учить надо! Нельзя же его безнаказанным оставить. Да и вам деньги. Не век же в конторщицах сидеть.

Словом, несчастную закрутили так, что она написала письмо. Тогда все переменялось.

– А! Шантаж? Доказательство налицо! Шантажное письмо! Пусть попробует подать жалобу! Да я сам обращусь в сыскную полицию. Пусть меня оградят. Я человек известный, с положением! Из Москвы в двадцать четыре часа вы-

шлют!

Обесчестили – и ее же обвиняют в шантаже.

Позор, надругательство, впереди – сыскная полиция, высылка из Москвы.

На земле нет справедливости.

И молодая девушка застрелилась на паперти храма Христа Спасителя.

Написав в большом письме свою жалобу.

Самоубийство было так громко, что даже в тогдашней Москве, где все тушилось, что касалось «известных в городе лиц», – поднялось дело.

Был громкий процесс при закрытых дверях.

Процесс, между прочим, интересный по необычной, неслыханной в летописях суда, экспертизе.

В качестве эксперта была вызвана блестящая московская актриса, красавица С.П. Волгина.

Она должна была свидетельствовать суду:

– О душевном состоянии, в котором находится артистка после успеха на сцене.

Нотариус Н. был осужден в ссылку.

Так детьми мы играли на лугу, под которым была глубокая трясина.

Но умолкни, болтливая старость...

Мы начали о Вейхеле.

Я не знаю, чем, собственно, его увлекла сцена.

Он играл, – в свои «бенефисы», – только одну роль:

– Акакия Акакиевича Акакиева. В водевиле «Жена напрокат».

Все его сценические данные подходили только к этой забавной роли. Но Секретаревка и Немчиновка увлекли его, как многих юношей. Он был устройтелем любительских спектаклей, а потом театральным библиотекарем. Это был целиком:

– Человек театра.

Он и жил до конца дней своих в самом театральном московском переулке, в Богословском:

– Где Корш.

Кроме видных людей, драматурга, актера, театр требует еще целой массы невидных, незаметных деятелей, любящих театр, вечно остающихся за кулисами.

Один из них был покойный Вейхель.

Мир его праху!

Мир праху всего прошлого!

Впервые опубликовано: «Русское слово». 1916. 18 марта.